

Studia Culturae: Вып. 1 (39): Politeia: А.М. Сергеев, Б.Г. Соколов. С. 118-138.

A.M. SERGEEV

*Доктор философских наук
Профессор, Ректор
Мурманский арктический государственный университет*

B.G. SOKOLOV

*Доктор философских наук
Профессор кафедры культурологии, философии культуры и эстетики
Санкт-Петербургский государственный университет*

ИСКУССТВО ФУГИ: РИСК

Предлагаемый читателю текст – первая часть готовящейся к изданию монографии (ориентировочный срок выхода – конец 2019 года) книги двух авторов – А.М.Сергеева и Б.Г. Соколова – «Искусство Фуги». Фуга – музыкальная форма и, одновременно, ядовитая рыба, искусство приготовления которой ставит перед риском смерти того, кто отваживается ее отведать. Уже в этой первой части звучит одна из сквозных тем тем данной работы – Риск. Риск как философская тема всегда оставалась в тени магистральных проблем философии, однако в том или ином виде присутствуя в философских текстах. Тему риска авторы пропускают через две смежные проблемные поля: поле Господина-Раба, и Мужского-Женского.

Ключевые слова: Риск, Господин, Раб, Мужское, Женское

A.M. SERGEEV

*Doctor of Philosophy, Professor,
Rector, Murmansk Arctic State University*

B.G. SOKOLOV

*Doctor of Philosophy, Professor,
Department of Cultural Studies, Philosophy of Culture & Aesthetics
St.-Petersburg State University*

THE ART OF THE FUGUE: RISK

The text offered to the reader is the first part of the monograph being prepared for publication (the approximate release date is the end of 2019) by two authors – A. M. Sergeev and B. G. Sokolov – «the Art of Fugue». The Fugue is a musical form and, at the same time, a poisonous fish, the art of cooking which puts at risk the death of someone who dares to taste it. Already in this first part sounds one of the cross-cutting themes of this work – Risk. Risk as a philosophical theme has always remained in the shadow of the main problems of philosophy, but in one form or another present in philosophical texts.

The authors pass the topic of risk through two adjacent problem fields: the field of Master-Slave and Male-Female

Keywords: Risk, Master, Slave, Male, Female

ИСКУССТВО ФУГИ: РИСК

1. ГЕНЕРАЛЬНАЯ ТЕМА: РИСК

Оговоримся сразу, что основная тема той интеллектуальной фуги, которая звучит в нашей книге, рождалась именно как **совместное высказывание** на протяжении ряда месяцев при встрече авторов в разных местах страны. И сразу скажем прямо, что тема, пронизывающая практически все разделы данной книги, не очень избалована вниманием со стороны философов. Только походя и далеко на важнейшие для философской мысли персонажи, удостоивали ее своим глубокомысленным вниманием. Тех же, кто обращал на нее свой взор, мы, конечно, упомянем в соответствующих местах книги. Речь идет о **теме риска**. И, соответственно, нас в первую очередь будет интересовать именно то, что сопровождает, проясняет и окружает ситуацию риска, приводит к ней и вытекает из нее, а также то, что с ней ассоциативно связано.

Не многие, далеко не многие философы обращали внимание на эту проблему, Резон, наверное, подобного положения дел в отношении проблемы и темы риска понятен. Риск **вне закона**, о каком бы законе мы не говорили: о научном законе или о законе, который в качестве нормы предписывается определенному социальному пространству. Риск не только не любят. Его не жалуют и едва терпят. Научные стратегии освоения жизненного пространства, пытаются приручить риск путем различных методов, прибегая к расчету и контролю, прогнозу и проекту, верификации и фальсификации. Философские рассуждения – в основе своей – также предпочитают иметь дело с окончательностью и неизбежностью своих оценок, тесня сомнение.

В конечном счете наш разум пытается вписать все проблематичное в неизменный порядок **тотальных** структур. И дело не только в тех системах, которые открыто и недвусмысленно заявляют о своих тоталитарных предпочтениях, например, как это делает гегелевская диалектика абсолютного духа, где все мироздание оказывается встроенным в логику развертывания абсолютной идеи. Другим – сущностным – примером подобного рода рассуждений является платоновский идеализм, где иерархия идеи Блага владычествует над всеми иными, подчиненными Ей идеями, не говоря уже о царстве материального. В тех философских построениях, где все же остается место некоей нерешенности, проблематичности и свободе, как это

характерно для экзистенциальных аналитиков М. Хайдеггера или Ж.-П. Сартра, философия, мотивированная стремлением породить и сберечь событие мысли, все же сторонится риска, прибегая к размышлениям о всеобщности.

И в самом деле, попробуйте представить, что на какой-то вполне конкретный вопрос мыслитель отвечает: может это так, а может и иначе, и никто никогда в полной мере не способен определенно что-то сказать на сей счет... Нетрудно представить отношение к подобному рода построениям, ибо научная форма рассуждений вполне конкретно предполагает, что мышление должно быть связано с постановкой четких вопросов, предполагающих ясные и недвусмысленные ответы. И тогда понятно, что риску здесь не место.

Не любят риск и в измерении социально-властных инстанций. Дело в том, что закон предписывает, а не рискует. Закон не колеблется, и будучи императивом, стремится отформатировать человеческую реальность по определенному шаблону, ограничивая зону неопределенности и риска настолько, насколько это возможно. И если это не удастся сделать, закон стремится, по крайней мере, минимизировать воздействие неопределенности в параметрах действия своих границ.

Конечно, далеко не все является определенным в столь смутном «субстрате», каковым является человек или некая социальная группа. Даже там, где, казалось бы, должны владычествовать намерения собственной выгоды, пользы и самосохранения, случаются исключения. Человек не может смириться с **однозначностью** своего определения, чего бы оно ни касалось, даже если его неопределенность действует во вред его собственной выгоды. Однако при всей своей ориентированности на **бескорыстное**, пронизывающей различные культурные практики человека и социума, **нормативность**, **всеобщность** и **однозначность** не перестают быть теми императивами, которые дрессируются и транслируются с момента их возникновения. Риску нет места в сфере государственного закона или нормы, которые нацелены как раз на то, чтобы все было заранее определено и втиснуто, по возможности, в четкие и однозначные рамки.

Итак, и властные инстанции, и инстанции научного знания нацелены на то, чтобы либо уничтожить риск вовсе, либо свести его к минимальным значениям путем его отождествления со средой неустрашимой ошибки, т.е. с отождествлением риска со средой «человеческого, слишком человеческого». И не случайно то, что в отношении риска научное знание действует не менее властно, нежели социальная власть. Несмотря на то, что сфера применения и действия научного и социального мышления различны, их сходство очевидно.

Учитывая исторические свидетельства, пальма первенства в деле формирования «архетипа» и модели власти принадлежит **социальным инсти-**

тутам. И потому не наука выступает в качестве образца и модели развития государственных институтов и социальных инстанций, хотя и декларирует себя в качестве таковой с достопамятных путешествий Платона к Дионисию. Все как раз наоборот. Ввиду того, что научное знание выстраивалось именно по модели социальной власти, неопределенность и риск оказываются устранены. Несколько утрируя, можно сказать, что не Платон должен был бы вразумлять Дионисия, а как раз наоборот – Дионисий многому мог бы научить Платона, в том числе научив его тому, как выживать под постоянным Дамокловым мечом. Жизнь и тирана, и любой властной инстанции всегда «висит на волоске» не столько из-за прессинга возможности дворцовых переворотов, сколько из-за влияния различных историй, которые рассказываются в оправдание власти, которые шаловливо-непостоянны как сердечные пристрастия в «Травиате». Как поется в опере Дж. Верди, «сердце красавицы склонно к измене и перемене как ветер мая...». И ничего не поделаешь с тем, что любая власть не любит и не жалуется риск, хотя именно с ним связан ее генезис.

Итак, риску нет места в социальном пространстве и в научном знании. Но так ли это в самом деле, или это – упрощение, а может быть, речь, скорее, должна идти о фигуре замалчивания? И тот, и другой сценарий – заманчивы. Но тогда почему бы не попробовать рассмотреть феномен риска по-разному, но не только на уровне риторики и на уровне привычных сценариев, предпочитающих обходить его стороной или, если это не удастся, пытающихся приручить риск, поставив его вне закона. Однако и в этом случае соблазн велик. Вспомним в связи с этим Ницше, полагавшему, что надо сделать из «старушки добродетели» высшую форму разврата путем придания этой «дряхлой даме» соблазнительных черт. Он отмечал, что надо «поставить что-то вне закона», а для этого сделать это «что-то» настолько соблазнительным, что даже последний чинуша или, что не менее увлекательный сценарий, импотент от науки, успокоившийся «возросшим индексом X» и прополотым одним квадратным сантиметром собственного «научного интереса», забыв научную объективность, мог окунуться с головой в бесконечно сияющую вселенную нерешенного и неопределенного.

Риск есть, и его никуда не деть. Ибо только в головокружительной нерешительности и с дрожью в сердце утверждается любая власть, как бы это не маскировалось. Ибо, только предавшись бесконечности отчаяния и неуверенности, можно обрести веру и спасение. Ибо, только зачеркнув уже все решенное и проговоренное и опознавая его как сомнительное и убогое, т.е. только отринув собственную вменяемость, можно обрести мысль.

И тот, кто не рискует, тот не пьет шампанского, тогда как брызги этого шампанского и есть брызги риска. Вот основная канва всего того, что мы предлагаем в этой книге. И в этом отношении мы, безусловно, рискуем.

Рискуем, занявшись риском, разглядывая его возможные ипостаси и аватары, не отравиться этим бесконечным искусством – искусством фуги, связанным со смертельным риском. Попутно заметим и то, что мы никогда не можем изначально и заранее сказать, **кем** мы выйдем из горизонта риска, и **выйдем ли** из него вовсе.

2. ГОСПОДИН ПЕРЕД ЛИКОМ РАБА

Итак, социальные инстанции крайне осторожно относятся к риску. Они и направлены на то, чтобы – по возможности – утвердить и записать четкие правила и определенные регламенты поведения, и путем введения различных сегрегаций и процедур удаления, забыть о риске вовсе. И, тем не менее, это невозможно. Дело в том, что даже определенность человека в качестве трупа, когда искомой целью жизни оказывается смерть (З. Фрейд) оказывается только иллюзией. Умирая, мы, конечно, достигаем некоторого совпадения с самими собой и, хотя бы, как отмечал Ж.-П. Сарт, перестаем лгать сами себе и находиться в постоянно неустранимой ситуации самообмана. Однако, по сути, усопший столь же **неопределим** и подвержен всем **рискам**, что и живой. Сегодня мы хорошо знаем, что история творится из настоящего, и потому любое событие, включая смерть, подвержено процедурам символической и социальной перекодировки. Ушедший от нас человек сохраняет все тот же статус нерешенности и неокончателности, демонстрируя ту же «логику» изменения в понимании, которая свойственна живым. Вспомним и то, что говорил Ж. Бодрийяр об «изгнании мертвых». Любой мыслитель может ошибаться, разница – только в масштабе ошибки. И если мелкотравчатые рантье от науки ошибаются в неправильно составленных знаках препинания или при цитировании, то у крупной мысли масштаб ошибки может быть вселенским. Важно понять, что по масштабам ошибки можно ценить результат мысли: лишь результат мысли является мерой ее величия.

Но все же вернемся к основной канве наших рассуждений. Как мы уже поняли, социальные инстанции и прежде всего государство крайне настойчиво относятся к риску. В этой связи риск – это то, что идет от «плебса», от «избирателей», от «подданных» и связанных с ними контекстов, тогда как государственные инстанции предпочитают «кастрировать» проявления риска и попытки «включения» его действие социального организма. И здесь встает проблема, ибо власть в своем генезисе связана с риском.

Стоит вспомнить одну «историю», рассказанную ярым поклонником и певцом государства, а именно – Г.В.Ф. Гегелем. Сам Гегель недвусмысленно заявлял следующее: «Государство есть божественная идея как она существует на земле» [2. С.90.].

Речь пойдет о довольно примечательном моменте, который послужил, с точки зрения Гегеля, истоком возникновения как государства, так и истории, ибо для него, видящего в государстве пароксизм реализации свободы, история возникает лишь тогда, когда возникает государство. И сталкиваясь с таким примечательным отождествлением, трудно удержаться и не попытаться прояснить некоторые моменты, а потом уже потом вернуться и к самой истории, рассказанной Гегелем, в параметрах которой идет речь о главном персонаже данного раздела, а именно – о **Господине**.

Чтобы мы не говорили об **Истории**, и на какие бы интерпретации Её мы не шли, История всегда будет пониматься тем, во что вплетено **время**. Заметим, что Гегель настаивает на том, что история начинает «быть» и «наличествовать» только тогда, когда появляется **Государство**. До того же существовали так называемые доисторические времена, длительность которых, по современным оценкам, исчисляется временем, приближающимся к одному миллиону лет. Впрочем, предоставим слово самому Гегелю, заявляющему в своих «Лекциях по философии истории» в том месте, где он переходит к анализу восточного мира – мира в котором возникает государство – следующее: «Так как доисторическим является то, что предшествует государственной жизни, оно лежит за пределами самосознательной жизни, и если относительно него высказываются догадки и предположения, то это еще факты» [2. С.156.].

Здесь надо оговориться о том, что для Гегеля смысл того, что именуется им историей связывается со сферой реализации духа и не является простым течением событий человечества. То, что в «Азии воссиял свет духа и благодаря этому началась всемирная история» [2. С.143] служит оправданием того, что огромный временной период оказывается отброшенным в маргинальную зону гегелевской всемирной истории. Укажем лишь на один логический вывод, следующий из подобного подхода. Если есть целый временной отрезок, не включенный в всемирную историю и фигурирующий в рамках гегелевской концепции под названием «доисторические времена», то ко всем живущим в эти времена, вероятно, следует относиться как к **дочеловекам**. И если мы понимаем историю как сферу реализации разумного самого по себе, не сделать такого вывода невозможно. И то, что выставлено за пределы избранного – разумного – семейства, само оказывается неразумным. Заметим, что в тексте лекций самого Гегеля встречаются вполне неполиткорректные и даже расистские утверждения, с современной точки зрения. Так, он замечает, что «негр... представляет собой естественного человека во всей его дикости и необузданности», и в его «характере нельзя найти никакой гуманности» [2. С.138]. И далее: «Но у негров нравственные чувства весьма слабы или, лучше сказать, совершенно отсутствуют. Родители продают своих детей, а дети своих родителей, смотря по

тому, кто кого схватит» [2. С.140.]. Как говорится, «без комментариев», и потому вернемся к нашему магистральному сюжету, а именно к моменту возникновения государства, который связывается Гегелем с началом всемирной истории.

Напомним, следуя за самим Гегелем, основные вехи движения всемирной истории. «Восток знает и знает только, что *один* свободен, греческий и римский мир знает, что *некоторые* свободны, германский мир знает, что *все* свободны» [2. С. 147-148.]. И история, соответственно, разворачивается по направлению к всеобщей свободе, т.е. к свободе каждого, но не одного (восточный деспотизм) и не некоторых (Рим, греческий мир). «Скандалный» гегелевский конец истории наступает тогда, когда свободу обретают все. Причем, свобода, по Гегелю, возможна как разумная свобода, т.е. как свобода в рамках государства, которое отождествляется с «царством свободы». Оставим на совести самого Гегеля и идею конца истории, и его рассуждение о том, что лишь в лоне государства возможна реализация индивидуальной свободы. Обратимся к «началу движения», о котором упоминали еще досократики, говорившие о том, что начало дела – это уже половина этого дела.

Итак, начало движения всеобщей истории полагается там и тогда, где и когда сама эта история оказывается утраченной, и все это связывается с возникновением государства. Попутно заметим, что свет истории «воссиял» на Востоке, там, где наличествует тотальный деспотизм, «лозунгом» которого выступает гегелевский слоган «один свободен, остальные – рабы». История начинается с установления не **свободы**, но **рабства**. Именно Раб оказывается тем, кто реально движет историческим процессом: именно раб становится тем, кто «заинтересован» в гегелевской диалектике абсолютного духа, позволяющей – посредством нескольких этапов – достичь утраченной свободы. Ибо, зачем история и диалектика Господину!? – Ведь Его, как пронизательно было сказано в одном советском мультфильме, «и здесь неплохо кормят». Зачем Господину история и развитие? – Ведь он уже все получил и все имеет. В истории и прогрессе кровно заинтересован лишь Раб, и потому история – это рабское дело. История – это дело рабов. Отметим напоследок еще один важный момент: для восточной деспотии характерно положение, когда есть один Господин и бесконечное множество рабов – «гарем» рабов.

Ничего подобного не было в ту эпоху, о которой ввиду ее неразумности и доисторичности, сам Гегель ничего говорить не хочет, оставляя ее непаяханую дискурсивную делянку будущим историкам, антропологам, палеонтологам. Философ дает возможность появлению множеству последующих «открытий» и диссертаций.

Но вернемся к социальному составу населения. Он следующий: Господин (в количестве одной штуки) и Рабы (число населения минус один). Скажем прямо: получается не очень-то пестрый социальный «ландшафт». И зададимся вопросом, что явилось причиной подобной и столь прискорбной ситуации и для Раба (ибо что кажется печальнее для современного сознания, нежели судьба Раба), и для Господина (ибо в диалектике Раб – Господин последний оказывается Рабом Раба, и к тому же тем «субстратом», который в меньшей мере способен откликаться на прогрессивную поступь всемирной истории)?

Нам кажется, что ответ на этот вопрос связан с утратой Рабом своей свободы в так называемой **первой** битве. Речь идет об «эпохальном» сражении, свидетельств которого мы не обнаружим ни среди палеонтологических останков, ни в письменных источниках, ну, разве что в мифологических сказаниях. Зафиксируем: первая битва происходит между двумя особями **мужского** пола. Ситуация с «женщинами»¹, как бы это звучало

¹ Мужчина не может без битвы, ибо лишь в битве он приходит к самому себе и может обрести в ней себя. Но вместе с тем мужчина не может и без... **мистицизма**, когда риск битвы сопрягается им с риском прикосновения к **подлинному**. И такая цель оказывается связана с игрой со смертью, где ставкой становится собственная жизнь рискующего. В ситуации риска всегда есть азарт и адреналин, ведь без риска провала и риска смерти, нет ни игры, ни битвы. И то, что в первой битве выигрывает тот, кто сумел рискнуть, это подтверждает, лишь подтверждает прозорливость Гегеля.

Между тем, стихия риск и битвы не является уделом женщины. Как говорят биологи, мужчины – это «бросовый материал» эволюции, и, вероятно, именно поэтому природа экспериментирует с мужским, тогда как женская природа отождествляется с продолжением рода. Возможно, именно ввиду этого обстоятельства женщина не сохраняет того заряда мистицизма и иррационализма риска, который еще возможен в период ее формирования как человека, но исчезает по мере продвижения ее по пути взросления. Если какой-либо мистицизм и кака-либо иррациональность как-то сохраняются и пестуются женщиной, то это связывается ею в первую очередь с возможностью продолжения рода.

И в этой связи можно акцентировать внимание на парадоксальной ситуации. Не сохраняя мистицизм юности и ранней молодости, женщина не сохраняет **себя**, ибо дело сохранения себя всегда связано с риском движения в сторону неизвестного. В пору взрослости мистицизм у женщины сменяется торжествующим прагматизмом. Пожалуй, не будет большим преувеличением сказать, что в возрасте после тридцати лет женщина в целом освобождается от мистицизма, хотя до этого срока женщина казалась «оплотом» борьбы с прагматизмом и идентифицировалась с «полегом» в альтернативу «брутальности», а в чем-то и «туповатости» юношей. Но так или иначе, иногда – тихо и незаметно, иногда – через бурные романы и увлечения, к определенному – тридцатилетнему – сроку мистицизм женщины канет в лету. Вполне возможно, что такие рассуждения связаны именно с отечественным жизненным и культурным опытом, возможно также, что это – сюжет именно нашего, т.е. вполне конкретного, поколения. И в определенном отношении такой опыт является чем-то неустрашимым. Все-таки существует трудноуловимая грань, за которой мужчина все же способен сохранить в себе **заряд** внутреннего мистицизма и авантюризма, который утрачивает женщина. Разумеется, можно

неполиткорректно и даже – по-сексистски, была плохой. Более того, в сюжете первой битвы за свободу женщин не было вовсе. И борьба в этой битве велась не за территорию или богатство, и не за женщин: борьба шла за **престиж** и за **статус**, когда все остальное было лишь «довеском» и мало что значащим «дополнением».

Победитель получал все: в первую очередь – **свободу**, связанную с престижем и статусом, а вслед за этим получал рабов, женщин, богатства и даже все – мыслимые и немыслимые – преференции богоизбранничества, включая «рублевые» места в партере Рая, если только такой допускался в определенном мифическом горизонте, к которому принадлежали те, кто сражался за престиж. Соответственно, Раб лишался всего, но в первую очередь он утрачивал свободу и статус человечности как таковой.

Небольшая ремарка. Небезынтересно то, что Господин побеждал в этой битве не потому, что был более развит физически или был лучше вооружен. Он выигрывает в этой битве именно потому, что рискует своей **единственной «собственностью»** – своей собственной **жизнью**. Господин рискует, рискует в чем-то безрассудно, в чем-то отчаянно и решительно, но именно потому и выигрывает. Важно подчеркнуть, что Раб – в отличии от Господина – не способен идти до конца, а потому и проигрывает. Попутно акцентируем внимание на том, что и сегодня часто выигрывает не тот, кто все наперед просчитывает и способен заранее «постелить соломку», а тот, кто способен идти до конца, т.е. способен идти до **конца** себя и до своей **смерти**, включая «социальную» и «культурную» свою смерть.

Побеждает лишь тот, кто способен идти до конца. Побеждает тот, кто способен рискнуть **всем**. Побеждает тот, кто способен **собрать** весь свой мир и себя в едином мгновении риска. И без такой собранности себя в истине риска мир человека ни может не распасться и не рассыпаться, превращаясь в ничто. Речь идет о предельном риске, о риске человека **на пределе** себя самого.

Нетрудно понять, что предельный риск воспринимается в качестве довольно «прихотливой» ценностной шкалы, и то, ради чего человек рискует, имеет одновременно двойственный и довольно противоречивый статус. То, чем мы рискуем, с одной стороны, бесконечно ценно, ибо ради него мы рискуем своей жизнью. Однако, с другой стороны, если мы ставим это что-то на кон, то готовы также и утратить его и смириться с такой утратой.

сказать, что мистицизм – в форме внутреннего поиска – присущ человеческой природе вне ее противопоставления мужского и женского. Однако фактом является **отказ** от внутреннего мистицизма – под давлением социальных или каких-либо еще обстоятельств – у одних и его **сохранение** у других, пусть и в усеченном виде.

Иначе говоря, ценность поставленного на кон в каком-то смысле оказывается ничем и ничто. Рискующий своей жизнью, готов ею пожертвовать во имя чего-то другого. Предельный риск, таким образом оправдывает противоречивость и простирается в этой противоречивости. Причем, такая противоречивость упраздняет сам закон исключенного третьего: поставленное на кон **бесконечно** ценно, однако эта ценность стремится к нулю. Предельный риск обнажает ту область, которая оказывается вне пределов **рациональности**: он высвечивает такую область – область **абсурда**, в которой способен пребывать лишь господин. В горизонте предельного риска предельно ценное оказывается бессмысленным, ибо связано с нерациональным величием. Недаром еще Ницше метко отмечает, что «шкалой силы воли может служить то, как долго мы в состоянии обойтись без *смысла* в вещах, как долго мы можем выдержать жизнь в *бессмысленном мире*: потому, что небольшую часть его мы сами организуем» [3. С.277.]. Господин же может выдержать **бессмысленность** мира и, более того, способен утверждать ее. Он не утверждает логику расчета, но действует в той плоскости, которая предписывает логике ее законы.

И такая – первая – битва, как «первородный грех», повторяется из века в век. Поэтому описываемое Гегелем положение дел не является сугубо историческим достоянием. Мы сами – здесь и теперь – каждый раз оказываемся в ситуации **выбора** между рабом и господином. И каждый шаг, которым мы прокладываем в своем жизненном пути, является сугубо нашим ответом на вопрос, связанный с предельным риском. Более того, лишь тогда, когда мы способны обратить каждый свой шаг жизни в ситуацию предельного риска, мы становимся Господами **своей** жизни. Именно тогда, когда мы входим в горизонт предельного риска, мы становимся **свободными** людьми.

Каковы же приметы мира у победителя такой – первой – битвы, т.е. битвы, когда окончательно и бесповоротно происходит его освобождение от рабства и опознание этого? Важнейшей чертой мира Господина становится становление области **ответственности** и ее расширение. Господин отвечает за **себя** и способен ответить за **другого**. И потому он связывает любую возможность появления **вины** только с собою, не перекладывая вину на другие инстанции. Он – в ответе за себя и за других.

Вина, таким образом, является уделом господ. Раб же не знает вины, и всегда считает себя правым. Вину принимает и связывает ее с собою именно тот, кто способен отвечать. Отвечать и за свои поступки и за поступки другого. Вина – это личностная и персонифицированная характеристика Господина: если вина им признается, то она связывается им только с **собой**. Виновен именно он и виновен **лично**. Вина – это всегда его вина.

Значит ли это, что Господин всегда греховен¹, и то, что только в диалоге с виной этот самый грех и опознается? Дело в том, что Господин всегда несет на себе грех, ибо он всегда **отделен** и всегда **ответственен**. Господин не вступает в коммуникацию и не перекладывает все на других: он замыкает ответственность на себя, ввиду чего он греховен. Напомним, что для той традиции, которая тематизировала и в чем-то «паразитировала» на идее греха, а именно для христианства грех связывается с отделенностью. Важно при этом подчеркнуть, что грех **отделенности** рассматривается в христианстве в контексте и горизонте отношения человека с Богом, однако отделенность и принятие человеком ответственности за себя сугубо на себя не приемлемо. В полной мере ответственен и вменяем один лишь Бог, и потому истинное определяется в именовании Бога Господином. В такой трактовке сам человек не может решать то, кто прав, а кто виноват. Намерение сделать это соотносится с гордыней. Человек – это только раб, раб **господень**.

Однако в ситуации **смерти Бога**, о которой говорится со времен Ницше, **ответственность** за свою и чужую жизнь может нести и сам человек, если только он, рискуя и ставя «под вопрос» само свое существование, способен отвечать за себя и за другого, жертвуя самим собой и собирая свое существо благодаря такой – своей – жертве.

В определенном отношении ситуация с господином становится довольно ясной, хотя аспекты положения раба и рабской жизни еще далеки от прояснения. И в этой связи стоит обратить внимание к мысли двух «антиподов» философии – к идеям Аристотеля и Ницше. И если относительно текстов второго еще как-то можно рассуждать как об определенной поэтически-гуманитарной неряшливости или нестрогости, то об основате-

¹ Но можно ли ставить вопрос о праве на грех? – Человек отвечает за многое, отвечает за любой свой поступок. А поступь поступков ох как длинна! И вся жизнь человека предстает определенным его поступком. Обычное внимание к ситуации риска связывается с **мгновенностью** и **внезапностью** его совершения. Однако для того, чтобы столкнуться с ситуацией риска уже что-то сделать и заслужить **право на риск**. Так, для того, чтобы испытать риск сорваться в пропасть, надо многое сделать: надо поставить себе целью оказаться у пропасти, купить билет, спланировать дорогу, в определенное время оказаться в аэропорту или на железнодорожной станции, доехать, а потом дойти до горы и до пропасти, и только потом – прыгнуть. В этом смысле пропасть нужно еще заслужить. За нее нужно расплатиться. Надо завоевать право на пропасть. И все здесь сказанное является не только метафорой.

ле логики и, соответственно, всей европейской науки сделать это довольно трудно.

В своем последнем, при жизни неопубликованном тексте, который сестра философа скомпоновала из аутентичных афоризмов и озаглавила как «Волю к власти». Ницше пишет следующее. «Идеальный раб («Хороший человек») – Тот, кто не может мыслить себя как «цель» и, вообще, не в состоянии из себя создавать цели, тот склоняется к морали самоотречения – инстинктивно. К ней его склоняет все: благоразумие, опыт, тщеславие. И вера есть также отречение о самого себя». [3. С.156.] Таким образом, область рабства разворачивается исходя из горизонта цели. Тот, кто не способен рождать из себя свой собственный телос, т.е. фактически самоутверждать свое настоящее посредством того, что порождено им самим, тот отрекается от себя не во имя самого себя, но во имя чего иного. Таким «иным», по Ницше, являются вера, опыт, благоразумие и т.п. Господин же предстает той инстанцией, которая повисает в **пустоте** предельного выбора и этим утверждает саму себя.

С мыслью Ницше вполне сопоставима мысль Аристотеля, заявляющего, что тот, «кто по природе принадлежит не самому себе, а другому и при том все-таки человек, тот по своей природе раб». [1. С.382] Таким образом, Раб является рабом по своему рождению: он – **уже раб**, и **потому** – раб. И быть рабом – его удел. Таков его мир, и только будучи рабом по своему существованию, он участвует истории¹.

¹ Тренд Просвещения, в фарватере которого разворачивается современность, на первый взгляд, вроде бы, связывается с **борьбой** с рабством и его социальной **ликвидацией**. Однако в действительности именно **господин**, но не **раб** приносится в жертву, и в результате исчезновения фигуры Господина исчезает и определенность «современного» рабства. Именно это, вероятно, и позволило Фр. Фукуяме провозгласить «конец истории», т.е. истории, которая делалась рабом, но которая закончилась, когда и господин, и раб исчезли как таковые. Однако возникает перверсия, ведь **раб** никуда не делся: фигура раба вытесняется, конечно, из общественного поля, однако раб сохраняется и остается **внутри** человека. И то, что описывается Гегелем, имеет теперь не только историческое звучание, но и **феноменологическое** значение. Раб и господин – это не столько и не столько факт истории: Раб и Господин – это **ментальный конструкт** и «**тональность**» **конституирования самости** человека. Понятно, что с таким «конструктом» и такой «тональностью» не поборешься ни декретами, ни постановлениями. Их невозможно упразднить, девальвировать и разрушить, разве только путем разрушения самого сознания, **атрибутивными** характеристиками которого они являются.

1. РИСК: МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ

Итак, Господин – это тот, кто непременно рискует, но рискует не только он один. Неопределенность, нерешенность и наконец осознание свободы, ставящие человека перед необходимостью рискованного решения, «разлиты» по всему миру. И прежде всего по тому миру, который мы конституируем и создаем именно как **свой** мир. Мы не можем не рисковать и собирать – посредством этого – самих себя. **Повседневность**, в которой ткется ткань нашего мира, нередко поворачивается нам той стороной, которая требует для своего сохранения предельного и смертельного риска¹. Но и в этом случае, когда речь не идет о «пограничной» ситуации, риск связан с обращенной к нам необходимостью отдать всего себя, по типу «пан или пропал». Другим сценарием риска² становится **бунт** против всего того, что довлеет над жизнью человека, власть чего можно прервать не методическим усилием или напряжением, которое может лишь усилить такое давление, но лишь тогда, когда методическое и рациональное прерываются в горизонте риска, будучи сопряженными с ничто. Но и тогда, область риска – это область сборки самости, когда последняя, очистившись свободой, разворачивает себя «вопреки» и «несмотря ни на что».

И все же когда мы говорили о соотношенности Господина с Риском, то мы не говорили о бесполом и абстрактном Господине, который мог бы легко заменить Господжой. Первая битва за престиж случилась не между Господжой и Рабыней: она велась без оглядки на «феминизм». И дело тут вовсе не в том «бесправном» и «угнетенном» положении женщины во времена оные. Дело в том, что риск – это риск Господина, и в той мере, в которой

¹ Заметим, что философия во многом связана с риском. И она не является только строгой наукой или поэзией мысли. Философия, если речь идет не об обязательной дисциплине в рамках конкретного учебного курса, а о подлинном движении мысли, является предельным риском. Прежде всего, это риском отдаться **бесконечным** вопросам, на которые в перспективе подручности невозможно получить ответ. Бесконечный риск состоит в том, чтобы снова и снова отдавать **себя** бесконечному, и находясь, как метко замечал Хайдеггер, на пределе, попутно ставить под вопрос и все **сущее**.

² Риск – это всегда **выбор**. Без **свободы** риска нет: в ситуации необходимости риск невозможен. И риск возникает там и тогда, где и когда есть ситуация свободы. Однако мы по-разному относимся к тому, чем мы рискуем. Иногда порог риска оказывается явно **завышенным** и связывается человеком исключительно с ситуациями его выбора между жизнью и смертью, в результате чего подобный риск – удел немногих, и большинство людей предпочитают обходить его стороной, ибо постоянно ставить на кон свою жизнь под силу не каждому. Напротив, в других ситуациях порог риска **понижается**, и тогда человек способен «погружать» в зону риска многие события своей жизни. Нетрудно понять, что такая – погруженная в риск – жизнь «прочитывается» как **авантюра**, в которой и страсть, и азартная игра – это лишь эпизоды непрерывающегося ничем потока получения человека определенных доз адреналина.

женщина способна ввернуть себя риску окончательно и бесповоротно, она перестает быть собой, т.е. перестает быть женщиной и, нивелируя свой пол, становится Господином или, по крайней мере, пародией на Господина. Господин, который становится таковым перед лицом раба, не является бесполом, абстрактным «живым существо с двумя ногами и без перьев», каковым считал человека Платон. Господин – **мужчина**, тогда как раб – **не мужчина**.

Можно это сказать и по-другому: мужчина, если он мужчина, всегда не раб. Мужское связано с отказом от рабства: оно связано с вытеснением и выдавливанием из себя рабства. Мужчина – всегда Господин. И тогда в первой битве за престиж рискует тот, кто становится «впоследствии» Господином, т.е. мужчиной как таковым, уже является Господином, ибо он уже решился на риск.

Итак, риск – это очень мужское, что отнюдь не означает, что женщина не рискует и предпочитает все только рассчитывать, интуитивно используя опыт «мягкой силы» – этакий стереотип «коварства» слабого пола. Дело, конечно, не в этом. Женщина, рискует, но в ее риске мы можем увидеть существенное отличие от риска мужчины. Здесь вся **разница** – в **телосе**. И такое отличие имеет фундаментальный характер, ибо цель есть то, что формирует сущее, приводя его к бытийствованию в том виде, в каком оно бытийствует. Недаром Аристотель отдельно фиксирует телос, как одну из четырех базовых причин существования сущего. Телос у мужского риска и у риска женщины различны, ибо женщина способна **остановиться** в движении риска. Ей нужен не столько риск и азарт, сколько **результат**. И он – обязателен.

Для риска, с которым соотносит себя мужчина, важен не сколько результат, сколько сама «игра риска». Ему важно бесконечное, неожиданное и вечно изменчивое **продление** ситуации риска, тогда как результат связывается им с **нарастанием силы** риска. Насколько он рискует, настолько он и становится мужчиной. Насколько он – в горизонте риска, настолько он и есть мужчин.

В этой связи объяснительна захватывающая сила азарта мужчины, о которой прекрасно осведомлена любая администрация казино, не дающая ему – выигрывающему уйти. Необходимо **подпитывать** такой азарт все возрастающего риска любыми средствами вплоть до того момента, когда, наконец, удача отвернется от играющего, и он проиграет. Сладость игры – это сладость риска, который всегда заключает в себе ужас провала и проигрыша. Но именно с этим связана ценность игры, ведь именно такая возможность **провала и отождествления** – играющим – себя с **ничто** только и способна превратить игру в захватывающую его стихию. За самой маленькой ставкой и за самым маленьким «пасом» всегда стоит не только

возможность выигрыша, но и все возрастающий риск, подпитывающий игрока адреналином и сладким предчувствием его провала в ничто.

Наше рассуждения о том, что подлинный риск – это дело мужчины, отнюдь не развертывается из горизонта мужского «шовинизма», или «сексизма», или «фаллоцентризма», или традиционализма. Если подобный упрек и возможен, то его можно адресовать всем авторам – мужчинам. Конечно, в определенном смысле логика пишущих этот текст, мужская, и с этим ничего не поделаешь. Но столь же ничего нельзя поделать с тем, что есть мужчина и есть женщина, и потому само различие в поле, как определенная несводимость, т.е. **диспаратность** мужского и женского, являются реальностью.

Мужчина и женщина не тождественны друг другу, однако они и не противоположны друг другу как противоположны друг другу минус единица (-1) и плюс единица (+1), которые в своей сумме никогда не дадут «ноль». Здесь – другое положение дел, и это – факт. И если существует некое **равенство возможностей**, то такое равенство, нормативно декларируемое современной европейской культурой и обеспечиваемое всей мощью социальных и государственных инстанций, не имеет ничего общего с **сущностным неравенством** мужского и женского. Такого равенства нет и никогда не будет. И риск – в любой его форме – только обнажает такое зияние отличия мужского и женского. Таким образом, данное отличие не является вопросом биологии или физиологии. Это – вопрос **культуры и сборки посредством культуры** двух позиций и двух миров: мира мужчины и мира женщины. Другой вопрос состоит в том, можно ли «собрать» человека как-то по-иному, не инфицируя его с мужским или с женским. Такой, кстати, вполне актуальный в наше время, вполне возможен. Но об этом немного позднее.

Итак, мы сталкиваемся с различием бесконечно продолжающегося мужского риска и женского риска, неизбежно нацеленного на результат. Именно риск в большей степени, нежели биология, очерчивает ту область, которая собирает мужское и женское *par excellence*. Причем, вырваться из такой области можно не путем простого изменения, но посредством коренной трансформации. Область риска как раз и осуществляет то различие мужского и женского, через которое мы отождествляем себя с собою в гораздо большей степени, чем через свою собственную «биологическую телесность». Мужчина принципиально не может **остановиться** в риске, тогда как женщина не может бесконечно **продлять** риск, ибо если это происходит, они изменяются столь непоправимо, что, наблюдая это извне, можно констатировать абсолютное изменение **условий** нашего наблюдения, приведшее к исчезновению **объектов** такого наблюдения.

Речь, конечно, не идет о том, что в результате происходит «рокировка», когда мужчина становится женщиной, а женщина – мужчиной. В сфере сознания, которое очерчивает и конституирует реальность, это невозможно, ибо для подобного необходимо **тотальное забвение**, т.е. **тотальная амнезия**, хотя в «физиологическом» горизонте память тела и не является последним актором. Остановка риска, связанная с преодолением мужской зоны риска, или продление женской зоны риска – как трансгрессия – воспроизводит **смежные** зоны телесности и **новые** виды отношения к **другому**, такие как гомосексуализм и лесбиянство. Этого-то как раз опасается и мужское как мужское, и женское как женское. Такое опасение связано с возможностью лишиться **собственной** зоны риска и посредством этого измениться непоправимо, хотя эта опасность также и **соблазняет** человека. Мы боимся остаться в формате принципиально **другого**, т.е. боимся того, что выйдем из зоны риска не собою и полностью утратив себя.

Иными словами, именно **конституирование зоны риска** в гораздо большей степени, нежели наши физиологические даты, обеспечивают нашу половую дифференциацию. И то, что идентификационные процедуры пола «запускаются» на уровне **сознания** и связаны с **нерациональным** самопозиционированием человека в зоне риска и выстраиванием им самой этой зоны, довольно отчетливо видно в современных попытках, позволяющих осуществить любые технологические конструкции по идентификационной сборке, которые ранее представлялись в качестве сугубо мыслительных допущений. Современные биотехнологии и хирургия делают очевидным простой тезис: фиксация и детерминация пола у человека – это не биология, но сугубо **социальный** и **культурный** конструкт. Полов может быть больше, чем два биологических пола, и современная технология способна обеспечить потенциально **бесконечное** количество полов и **бесконечное** количество отношений человека как со своим, так и с другим полом, а также **бесконечное** количество его отношений со своим миром и миром любого другого человека.

В ситуации потенциальной возможности бесконечного количества полов и, соответственно, бесконечности базовых позиций и стратегий конституирования человеком собственного мира и выстраивания его отношений как с собой, так и другим людьми, пока все же реализуется традиционный «набор» и традиционная «номенклатура». Такое «пока» во многом обеспечивается тем, что поколение, которое занимает командные высоты в **социальном** пространстве и может вести направленную воспитательную дрессуру, внедряет сугубо свои процедуры идентификационной сборки, которые далеко не в полной мере являются откластеризованными и еще не расщеплены глобализационными процессами.

Для поколения, к которому также принадлежат те, кто пишут эти строки, важным императивом является позиция **долга**. Именно это поколение продолжает не только сохранять различные зоны риска, традиционную половую идентификацию, но и воспринимать человека как то **сущее**, которое не может без **долга**: долг блокирует **другое**, т.е. нашу возможность стать и быть другим. Другое не допускается к бытию, как бы ни был велик **соблазн трансгрессии** в возможных онтических сценариях риска и сборки.

Не в меньшей степени содействуют сохранению традиционного деления на мужское и женское и, соответственно, нашей опоре на традиционную дифференциацию, и другие социальные практики, обладающие изрядной долей **инерции**. В социальном и культурном пространстве, которые довольно трудно отделить одно от другого, что только подтверждает старинный тезис, что человек – существо социальное, мужское и женское оказывают друг другу постоянную поддержку. Они взаимоконституируют друг друга и оказываются переплетенными теснейшем образом. Такая вековая ментальную взаимообусловленность, обладающая, как уже было только что отмечено, изрядной долей инерции, довольно трудно упраздняется и деконструируется. Ее можно только **пережить**, на что, как нам должно быть понятно, требуется не одно поколение, хотя в последние два – три десятка лет процесс культурной эрозии и принимает все большее ускорение.

Обратим внимание на одну иллюстрацию, фиксирующая вышеуказанную взаимопереплетенность и взаимообусловленность мужского и женского. Сфера красоты традиционно оказывается зарезервированной за сферой женщины. Красота *par excellence* – что бы глубокомысленно не говорили эстетизирующие – фундирована в первую очередь в красоте женщин. Но вот что примечательно, красота женщины выстраивается через тот взгляд мужчины, которым женщина приучается смотреть на саму себя. Таким образом, красота рождается из того регистра **женщины**, который не в меньшей степени принадлежит и зоне **мужского**. И потому не случайно то, что наиболее красивые модели для женщины создают модельеры – мужчины, которые-то и являются законодателями в этой сфере.

Можно даже зафиксировать (и это – женский голос, который мы иногда включаем в данный текст), что женщина – модельер в гораздо большей степени, нежели мужчина – модельер ориентируется на **прагматику** изделия, придавая **элегантность** и **комфортность** тем базовым позициям и характеристикам, которые изобретают мужчины. И это вполне логично: именно мужчина знает то, что «хотят женщины», но не она сама. В сфере модельного бизнеса женщина ориентируется на **функционал** вещи, в то время как мужчина выявляет тот **формат** красоты, который «добавляется» к женщине и «задает» ее красоту.

Современное распространение стиля «унисекс», отчасти связанное с феминистической ориентацией, о которой речь еще впереди, стирает границы между различием мужского и женского, но женщине все-таки остаются нужны некие «фитюлечки» и особенности, которые определяют уникальность ее образа в различении от всех остальных. И такие «особенности» создаются опять же преимущественно мужчинами: мужчинами – ювелирами, мужчинами – дизайнерами, мужчинами – кутюрье.

Мужчина инсталлирует красоту женщины и – посредством этого – красоту вообще. Его взгляд, собственно, и делает женщину женщиной. И потому рассуждения об утилитарности красоты предстают как нечто искусственное. Более того, сами разговоры об естественности или природности, например, о естественности «дао» или рассуждения, связанные с проектом «возврата к природе», надо рассматривать не как возвращение к истокам, но именно как новый искусственный путь и новую искусственную инициативу. Нет ничего естественного для человека ни в прошлом, ни в будущем. И то, что мы полагаем как естественное, в действительности является **сmodellированной** и **сконструированной** инициативой. Но тогда искусственное обладает для человека явным приоритетом: именно **искусственное** предопределяет **естественное** и является его началом. Так и красота, будучи всегда сконструированной тем или иным способом, представляет из себя вершину искусственнейших базовых позиций любой культуры.

Итак, в сфере человека нет никакой естественности, он, как женщина с утра, должен всегда и постоянно поддерживать субстанцию своей **искусственности**. И только в таком – **непрерывном** – творении искусственного он обретает свою естественность. До естественности еще надо дойти, подобно тому, как в скульптуре передача естественного движения связывалась с возможностью «уродования» физиологических «определенностей» человека путем «выгибания» скульпторами суставов своих скульптур и нарушения естественных пропорций так, как «в природе» не бывает. Также и до красоты еще нужно добраться. Красоту нужно еще создавать, причем, процесс такого созидания захватывает как область мужчины, так и область женщины.

2. ЖЕНЩИНА И ФЕМИНИЗМ.

Борьба за феминизм не связана с борьбой **против** мужчин. Конечно, на уровне традиционной риторики, о чем смотри ниже, феминизм борется с мужским, выстраивая целую генеалогию подавления женского голоса. Женщина не может играть в мужские игры, не утрачивая себя как женщину. В такой борьбе она именно **тратит** и себя. В этой связи борьба женщины с мужчиной оборачивается **тотальной** тратой, ибо победа всегда будет за тем, кто, рискуя всем, способен поставить себя под **предельный** вопрос.

И этой борьбе победителем будет всегда Господин, т.е. существо с явно фиксируемыми социальными половыми признаками мужчины.

В результате феминизм направлен на борьбу с **женщиной**, где первой жертвой такой борьбы становится именно она сама. Конечно, в той ситуации, когда область женского переплетается с областью мужского и ею поддерживается, исход этой борьбы в некоторой степени воздействует и на мужское. Но не в той части, в какой это мыслилось тем, кто начинал ратовать за права женщин. Дело в том, что достигнуть равноправия невозможно, ибо в этом случае не будет той половой дифференциации, в результате которой только и выстраивается горизонт мужского и женского.

В качестве деструкции женщины, феминизм затрагивает и мужское, но только по касательной линии. Мы уже говорили о том, что мужское и женское¹ оказываются переплетенными между собой и оказывают друг другу поддержку. Как это ни «печально» для мужчины, сам процесс конституирования мужского протекает именно в **глазах женщины**. Именно женщина конституирует мужчину как мужчину. Более того, мужчина – это **проект женщины**, так же как Господин является проектом раба, выстраивающего историю своего освобождения.

¹ Можно поставить вопрос о том, где и в каком случае мы сталкиваемся в культуре с мужскими или с женскими текстами? Понятно, что в данном случае речь не идет о том, что автором одних текстов является мужчина, а автором других текстов – женщина, как и не о том, какие тексты предпочитают мужчины, а какие тексты – женщины. Вопрос в том, в каком тексте мы можем обнаружить сущностную сочлененность с **риском и волей**, т.е. столкнуться с областью мужского, в отличие от области женского, связанной с ориентацией на **сохранение, продолжение и удержание достигнутого**. Мужское выступает как более радикальное начало, связанные с горизонтом риска и выбором «или-или». И если в женской ориентации мы сталкиваемся с тенденцией усреднения, то мужчина намеренно отстаивает **индивидуальное**. Женщина стремится избавляться от «индивидуальности», от навязчивого «я» автора - гения. И это – не вопрос жертвы ее собственного «я». Скорее, дело в ее близости биологии: женщина хочет «замуж», хочет семью, хочет детей, и потому ей непременно нужен **контекст**, что и проявляет себя при создании ею своего текста. Для мужчины же контекст – это по преимуществу только фон, это – фон для становления его **индивидуальности**.

Все сказанное имеет прямое отношение и к вопросу создания **философского** текста, который является преимущественно **мужским** проектом. Мы сталкиваемся с подлинно мужским текстом лишь там, где лицом к лицу встречаемся с сфокусированной волей и необходимостью риска, который прежде всего раскрывается как риск утраты своей собственной позиции и самого себя. Речь, таким образом, идет о своеобразной **волевой суггестии** философского текста. В той части, в какой философский текст оказывается способен перекодировать сознание читающего. т.е. способен поставить под вопрос мироустройство читающего и разрушить ее, становится возможна реализация мужского. Нетрудно понять, что именно с такой претензией и создаются философские тексты. Связывая сказанное с размышлениями о Господине и Рабе, можно констатировать, что философия является делом **Господина**.

Именно перед лицом женщины мужчина становится мужчиной. Лишь тогда, когда юноша «изгоняется» из женской половины, определяясь не только в параметрах мужской, но и в измерении женской рефлексии, он становится мужчиной. Процесс изгнания оборачивается процессом **инициации**. Таким образом, мужчина становится мужчиной не тогда, когда получает «паспорт» гражданина и соответствующую возможность продолжения рода. Все это является только одним из социальных маркеров, которые фиксируют определенность события появления мужского в конкретной культуре. Мужчина становится мужчиной тогда, когда проходит ритуал инициации, который, по свидетельству многих полевых антропологов, всегда символически ассоциировался со смертью и довольно часто был связан со смертельной опасностью и смертельным риском.

Мужчина, чтобы стать мужчиной, был поставлен в ситуацию предельного риска, где и когда он должен был «умереть». И речь шла не об «игривой» ситуации щекотания нервов и впрыске адреналина, но о ситуации реального **провала** в определенности **налаженного** существования. Сама возможность такого провала становилась условием основания в деле «появления» подлинного мужчины.

Необходимо особо подчеркнуть, что такие процедуры инициации, связанные с «превращением» юноши в мужчину, происходят из горизонта женского, а не мужского, так как мужского пока нет, и оно еще только устанавливается. К тому и ситуация смертельного риска вполне может закончиться физической смертью конкретного человека. Горизонт инициации выстраивается из начала, связанного с горизонтом женского.

Иными словами, «исторически» и, соответственно, «ментально» **женщина** запускает и конституирует **мужское**: именно женщина несет в себе потребность мужского и всего того, что формируется и фигурирует в качестве его социально-половые характеристик. Речь идет о таких мужских характеристиках как **воля, ум и сила**. Но тогда то, что то, что различает область мужского и область женского не конституируется в формате женского, что в свою очередь совсем не означает, что речь идет о производственно-половой дифференциации ролей, когда на долю женщины резервируется одно, а на долю мужчин – другое. Для того, чтобы область мужского состоялась, она должна быть отделена от области женского и изъята из нее, что и осуществляется путем **инициации смертельного риска** из области **женского**. И если этого не происходит, как в случае с феминизмом, то нет и потребности как в мужском, так и в женском, ибо мужское кристаллизуется и вызревает в горизонте потребности женщины. Феминизм фактически ликвидирует **область женского** и **фигуру женщины** как таковую, не давая возможности «выращивания» ею своего другого, т.е. мужского начала. Но вместе с тем феминизм направлен и на ликвидацию области **мужского**. Дело в том, что исчезает воля женщины, которая

является конституирующим началом воли мужчины. И тогда без воли женщины нет и воли мужчины.

Каковы перспективы развития проекта феминизма, однозначно сказать нельзя. Сфера прогнозов – занятие довольно бесперспективное, так как фактически ни один футурологический прогноз не сбывается. Вероятно, ценность футурологии состоит в том, чтобы, ознакомившись с прогнозом, понимать лишь то, что он обязательно не сбудется. Однако существует более глубинная сфера, нежели сфера половой дифференциации, в горизонте которой сама половая различенность является только одной из производимых определенностей такой сферы. Это – сфера **дома**, чему и будет посвящен один из следующих разделов нашей книги.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аристотель. Политика / Аристотель. Сочинения в 4-х томах. Т.4. М.: Мысль. 1983.
2. Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб: «Наука», 1993.
3. Ницше Фр. Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей. М., «REFL-book», 1994.

TRANSLIT

1. Aristotle. Politika / Aristotle. Sochineniya v 4-h tomah. T.4. M.: Mysl'. 1983.
2. Hegel G.V.F. Lekcii po filosofii istorii. SPb: «Nauka», 1993.
3. Nietzsche Fr. Volya k vlasti. Opyt pereocenki vsekh cennostej. M., «REFL-book», 1994.